

Идея Империи

Ален де Бенуа

Перевод с французского Владимира Карнца

Изучая политическую историю Европы, можно кратко указать на то, что Европа – место, где были выработаны, развиты и представлены две модели «политии»: нация, формированию которой предшествовало королевство (*royaume* – букв. царство – перев.) и Империя. Попытаемся, делая акцент на второй модели, обрисовать в этом кратком очерке их различия.

Но вначале вспомним некоторые даты. Ромул Августул, последний император латинского Запада, был низложен в 475 году. Осталась Восточная Империя. Между тем после распада Западной Империи сложилось новое сознание единства Западной Европы. Начиная с 795 г. папа Лев III издает свои буллы не от имени Константинопольского Императора, но от имени Карла, короля франков и римского патриция. Спустя пять лет, в Рождество 800-го Лев III возлагает на главу Карла Великого императорскую корону. Это было первым *renovatio* (обновление – перев.) Империи. Так в точном соответствии с теорией перехода империи (*translatio imperii*), согласно которой воздвигнутая в лице Карла Великого империя является продолжением Римской империи завершается исполнение пророчества Даниила - четвертая, Римская, империя, наследующая в свою очередь Вавилону, Персии и империи Александра – последняя; после нее следует конец мира.

Renovatio Империи было разрывом с августиновой идеей радикальной противоположности между *civitas terrena* и *civitas Dei*, из которой вытекала мысль о христианской империи как о всего лишь химере. Лев III применяет новую стратегию: в христианской империи император – защитник града Божия. Получая свои полномочия от папы, император воспроизводит во временном, мирском, порядке порядок духовный. Как известно, эта спорная формулировка, делавшая из императора субъекта духовного управления, одновременно ставя его во главе мирской иерархии и тем придавая ей сакральный характер, и была причиной полемики об инвеститурах.

Верденский договор (843 г.) узаконил разделение Империи франков между тремя внуками Карла Великого – Лотарем I, Людовиком Германиком и Карлом Лысым, а затем в свою очередь императором был коронован Генрих I, король саксов. Империя становится чисто германской. После распада державы Каролингов она была вновь восстановлена в пользу короля Германии Оттона I. Учрежденная в центре Европы наследниками Оттона и Салиями, она станет теперь главным политическим могуществом вплоть до середины XIII века, пока не будет официально преобразована в *Sacrum Romanum Imperium* – Священную Римскую Империю. Начиная с 1442 года добавят - «германской нации».

Здесь нет необходимости, кроме как в самых общих чертах, воспроизводить историю Священной Римской германской Империи. Лишь напомним: на протяжении всей своей истории она была некоей смесью трех великих составляющих: отсылкой к античности,

христианству и германству.

С наступлением Ренессанса и появлением первых национальных государств идея Империи начинает терять силу. Разумеется, победа, одержанная имперскими силами над войсками Франциска I, одержанная в 1525 году в Павии, казалось, обращает ход вещей вспять. Это событие, которое казалось недостижимо великим, вызвало тогда возрождение гибеллинских настроений в Италии. Однако после Карла Пятого его сыну Филиппу не достался императорский титул, и Империя вновь оказалась сведенной до местного уровня. Начиная с Вестфальского мира (1648), она все менее и менее рассматривается в своем достоинстве, и все более и более – как простая конфедерация территориальных государств. Процесс упадка продлится еще два с половиной столетия. 6 апреля 1806 года Наполеон завершает Революцию разрушением того, что еще остается от Империи. Франциск II отказывается от титула Романо-германского императора. Путь Священной Империи завершился.

На первый взгляд, учитывая часто противоречащие друг другу употребления слова «империя», обрисовать ее четкий концепт непросто. В словаре Литтре вообще содержится тавтологическое определение: империя, пишет он, это «государство, управляемое императором». Это очевидно неточно. Приходится часто напоминать, что Империя, так же, как город или нация, это форма политического объединения, а не форма правления, как монархия или республика. Это значит, что Империя a priori совместима с разными формами правления. Так, статья первая Веймарской конституции содержала положение о том, что «германский Рейх есть республика». В 1973 году Конституционный Суд в Карлсруэ без колебаний подтвердил, что вплоть до сего дня «германский Рейх остается субъектом международного права».

Лучшим способом выявить суть понятия Империи, без сомнения, остается его сравнение с понятием нации или Государства-нации (*État-nation*) как результата процесса формирования национального самоопределения и национальной принадлежности, примером которого в некотором роде является развитие Французского Королевства.

В сегодняшнем политическом, смысле нация это явление сущностно современное. Мы не будем следовать тезису Колетт Беон или Бернара Гене, уводящих времена рождения нации слишком далеко в глубь времен. По нашему мнению, этот тезис покоится на анахронизме: смешении «королевского» и «национального», формировании национальности, национального чувства и формировании собственно нации. Именно на счет формирования национального самоопределения и принадлежности следует отнести, например, рождение чувства причастности к не ограниченными родными просторами пространствам в эпоху войны против Плантагенетов, усилившегося затем во времена Столетней войны. Но не следует забывать, что в Средние века слово «нация» (от *natio* – рождение) имело смысл исключительно этнический, а не политический: нациями в Сорбонне назывались группы студентов, говоривших на одном языке. Что касается слова «отечество» (*patrie*), то оно появляется во Франции только у гуманистов XVI века (Доле, Ронсар, Дю Белле) и изначально отсылает только к средневековому обозначению местности, «края» (*paus, pais*). «Патриотизм», если это слово употребляется не просто как обозначение привязанности к родной земле, воплощается в верности сеньору или

преданности лично королю. Само название «Франция» – относительно позднее. Начиная с Карла III, прозванного Простым, титул французского короля – Rex Francorum. Выражение rex Franciae появляется только в начале XIII века, при Филиппе Августе, после поражения графа Тулузского в схватке с Мюре, приступившего к аннексии Аквитании и преследованию катаров.

Идея нации в полном объеме складывается только в XVIII веке и исключительно в ходе Революции. Изначально она восходит к той концепции суверенитета, которую исповедовали противники королевского абсолютизма. Она объединяла тех, чья политическая и философская мысль вела к тому, что более не король, а «нация» должна воплощать в себе политическое единство страны. «Нация» соотносится с абстрактным местом, где народ может устанавливать и осуществлять свои права, а индивиды превращаются в граждан. Стало быть, нация есть прежде всего суверенный народ, в лучшем случае делегирующий королю исполнительные полномочия для применения закона, исходящего от общей воли; затем это население, подчиненное одному и тому же государству, живущее на одной и той же территории, признающее свою принадлежность одному и тому же политическому единству; и, наконец, это само данное политическое единство. (Вот почему с тех пор контрреволюционная традиция настолько, насколько она связывает себя с монархическим или аристократическим признаком, воздерживается от превозношения нации). Статья 3 Декларации прав человека и гражданина 1789 года провозглашает: «Принцип суверенитета сущностно полностью содержится в нации». Бертран де Жувенель пришел к тому, что написал: «После всего свершившегося видно – Революция, кажется, имела целью основание культа нации» .

Это краткое введение было необходимо для точного понимания того, что, когда мы противопоставляем «Империю» и «нации», мы подразумеваем нацию в современном смысле, а не в смысле Старого Режима, предшествовавшего ей и при внимательном рассмотрении ее подготавливавшего.

Что фундаментально разделяет Империю и нацию? Прежде всего, то, что Империя это изначально не территория, а принцип, идея. Ее политический порядок на самом деле определяется не материальными факторами и не протяженностью географической территории, но духовной или политико-юридической идеей. Ошибочно считать, что Империя отличается от национального государства размером, что она есть просто «нация больше, чем другие». Конечно, по определению, Империя покрывает большую поверхность. Но суть не в этом. Суть в том, что император выводит свою власть из того, что воплощает в себе нечто большее, чем просто могущество, Будучи dominus mundi, он является сувереном князей и царей, он, так сказать, правит суверенами, но не их землями, представляет могущество превыше сообщества, которым он управляет. Как писал Юлиус Эвола, «Империю не следует смешивать с одним из королевств или наций, входящих в нее, поскольку она есть нечто качественно отличное, в принципе им предшествующее и их все превышающее» .

В равной степени Эвола напоминает, что «древнее римское понятие imperium, прежде определения сверхъестественной территориальной гегемонии, означает чистое могущество распоряжения, как бы мистическую силу auctoritas». Средневековье четко

различает понятия *auctoritas*, морального и духовного верховенства и *potestas*, простой публичной политической силы, явленной в правовых способах ее осуществления. В империи средневековой, как и в Священной Империи, это двуединство как бы стягивает разнородность собственно чистой власти как имперской функции и власти императора как суверена того или иного народа. Карл Великий, например, с одной стороны император, с другой – король лангобардов и франков. Верность императору поэтому не означает подчинения народу или конкретной стране. В австро-венгерской империи верность династии Габсбургов составляет также «фундаментальную связь между народами и заменяет патриотизм» (Жан Беранже); она преобладает над связями национального или конфессионального характера.

Этот духовный характер имперского принципа стоит у истоков знаменитого спора об инвеститурах, на протяжении многих веков разводившего в разные концы сторонников папы и императора. Лишенное отныне первоначального военного содержания, определение Империи сразу же наполнила средневековый германский мир теологическим смыслом, рожденным от христианского перетолкования римской идеи *imperium*. Рассматривая себя как исполнителей вселенской священной-исторической миссии, императоры поняли ее так, что Империя, будучи «святым», священным институтом (*Sacrum imperium*), призвала составить автономное по отношению к папству духовное могущество. В этом основа спора гвельфов и гибеллинов.

Сторонники императора, гибеллины, отвергая притязания папы, настаивали на еще античном разделении между *imperium* и *sacerdotium*, видя одинаковую важность в обеих сферах, одинаково учрежденных Богом. Такое истолкование следует римской концепции взаимоотношений между держателем политической власти и *pontifex maximus*, каждый из которых выше другого в той области, которая ему вменена. Гибеллинская точка зрения никоим образом не предполагает подчинения духовной власти власти имперской, временной, но перед лицом исключительных притязаний Церкви требует для имперской власти равного духовного статуса. Так, для Фридриха II Гогенштауфена император есть посредник, через которого распространяется в мире Божественная справедливость. Это *renovatio*, делающее императора сущностным источником права и придающее ему свойства «живого закона на Земле» (*lex anima in terris*), содержит в себе всю сущность гибеллинской «ревендикации»: Империя должна быть признана равночестной папству как имеющая сакральную природу и характер. Противостояние гвельфов и гибеллинов, как подчеркивал еще Эвола, «было не только политическим, как учит являющаяся основой школьного образования близорукая историография: оно выражало антагонизм двух *dignitates*, провозглашавших, как то, так и другое, свою принадлежность духовному уровню. Гибеллинство, в своем глубиннейшем аспекте, держалось взгляда, что сквозь земную жизнь, понятую как дисциплина, битва и служение, индивидуум может оказаться введом по ту сторону себя самого – к сверхъестественной цели – путями действия под знаком Империи, в соответствии с характером «сверхъестественного» учреждения, за ней признаваемого».

Отсюда упадок Империи прежде всего окажется равнозначным упадку ее основного начала и, соответственно, приведет к сведению ее к чисто территориальному определению. Священная Римская Империя германцев, когда оказалась связанной только

с принадлежащими ей землями, как в Италии, так и в Германии, уже не отвечала своему призванию. Эта идея, заметим, еще брезжит у Данте, для которого император не является ни германским, ни итальянским, но в духовном смысле «римским», наследником Цезаря и Августа. В истинном своем смысле империя не может без ущерба для себя быть трансформированной в «великую нацию» по очень простой причине того, что в соответствии с дающей ей жизнь принципом, ни одна нация не может вместить и осуществить высшую функцию и, даже если возвышается, то не выше своих гражданских и вообще частных интересов. «В своем истинном смысле империя, – делает вывод Эвола, – не может существовать, если ей не дает жизнь духовный жар. Если его нет, это будет просто силой удерживаемое объединение – империализм, простая, без всякой души, сверхструктура».

Нация, напротив, проистекает из претензии королевства связывать прерогативы своего суверенитета не с принципом, а с территорией. Это начинается с разделения Каролингской империи по Верденскому договору. В этот момент, на самом деле, Франция и Германия, уже разделенные, разошлись в своих исторических судьбах. Германия сохраняла имперскую традицию, в то время как королевство франков (*regnum Francorum*), отделяясь от германского мира, стало медленно, через все большие уступки со стороны монархии, превращаться в современную нацию. Этапы угасания каролингской династии можно датировать X веком: 911 г. в Германии, 987 во Франции. Первым королем, избранным в 987 году, стал Гуго Капет, о котором мы уже можем с уверенностью сказать, что он не понимал старого языка франков. Он был уже сувереном, находившимся вне имперской традиции, которому Данте в *Divina Comedia* отдает в уста такие слова: «Я посадил могильный корень, который проросшим из него деревом затмил всю землю христиан!»

В XIII и XIV веках Французское королевство, прежде всего, Филиппом-Августом (Бувин, 1214) и Филиппом Прекрасным (Аньяни, 1303) возводилось против Империи. В 1204 году папа Иннокентий III заявляет, что «в своей публичной инвеституре король Франции не признает никакой временной власти выше своей собственной».

Параллельно с использованием троянской легенды шла работа по «идеологической» легитимации противопоставления Империи принципа суверенитета национальных королевств и их права не считаться с интересами, отличными от собственных. Особо, как подчеркивал Карл Шмитт, важна здесь была роль школы легистов. Именно она начиная с середины XIII столетия формулировала доктрину, в соответствии с которой «король Франции, не признавая в своей временной власти никого выше себя, изъят из подчинения Империи и должен рассматриваться как *princeps in regno suo*». Эта доктрина будет развита в XIV-XV веках Пьером Дюбуа и Гийомом де Ногаре. Провозглашая себя «императором в собственном королевстве» (*rex imperator in regno suo*), король противопоставляет свой территориальный суверенитет духовному верховенству Империи, свою чисто временную власть имперской власти духовной. Параллельно легисты приступили к централизации и сворачиванию местных вольностей и феодальных прав аристократии – в соответствии с институтом «королевского случая» (*cas royal*). Таким образом они создавали буржуазный по сути правопорядок, при котором рационально обоснованный и признанный всеобщей нормой закон поставлялся на службу только лишь

государственному могуществу. Право превращалось исключительно в законы, кодифицируемые государством. В XVI веке королевская формула «императора в своем королевстве» уже прямо ассоциируется с новой концепцией суверенитета, разрабатываемой Жаном Боденом. Франция, как констатировал Жан Боден, была первой в мире страной, создавшей эмансипированный от средневековой модели публичный порядок.

Дальнейшее известно. Во Франции прогрессировало установление национального режима под двойным знаком централизующего абсолютизма и восхождения буржуазных классов. Главная роль в этом процессе принадлежала государству: когда Людовик XIV произнес «Государство это я», он имел в виду, что нет ничего выше воплощенного лично в нем государства. Именно государство породило во Франции нацию, каковая породила в свою очередь уже французский народ, тогда как в Новое время в странах с имперской традицией народ создает нацию, а та, в свою очередь – государство. Эти два процесса исторического строительства полностью противоположны, и в этой противоположности – различие между нацией и Империей. Как часто говорят, история Франции была постоянной борьбой против Империи; секулярная политика французской монархии была всегда направлена на дробление германского и италийского пространства. Начиная с 1792 года Республика преследует те же цели: борьбы против Австрийского Дома и завоевание Рейна.

Однако противоположность между духовным принципом и территориальной властью не только в том, чего нам здесь недостает принимать в расчет. Существует еще существенное различие в том, как Империя создает политическое единство и как – нация.

Единство Империи не механическое, но сложносоставное, органическое, охватывающее совокупность государств. В самом способе воплощения своего принципа Империя достигает единства именно на такой основе. Если нация порождает или ставит себе задачу сформировать собственную культуру, то Империя охватывает разные культуры. Если нация ищет путь сближения между народом и государством, то империя объединяет различные народы. Ее общий закон – автономия и уважение к различиям. На высшем уровне Империя видит себя объединяющей, но без подавления, все разнообразие культур, этносов и народов. Она созидает целое так, что оно оказывается крепче, чем автономные части. Империя в большей степени опирается на сами народы, чем на государство, она ищет их объединения в сообществе судьбы без сведения к идентичности. Это классический образ *universitas*, противоположный *societas* унитарного и централизованного национального королевства.

Имперский принцип призван примирить единство и множественность, универсальное и частное. Мёллер Ван ден Брук полагает Империю под знаком единства противоположностей как силу, которая их взаимно удерживает. Юлиус Эвола, со своей стороны, определяет Империю как «сверхнациональную организацию, единство которой не дает распасться до уровня этнической и культурной множественности все то, что она объемлет». И добавляет: имперский принцип позволяет «возводить множество разных этнических и культурных элементов в принцип высший и предшествующий их проистекающему только из чувственной реальности различий». Речь идет не об уничтожении различий, но об их интеграции.

В эпоху апогея Империи Рим вначале создал идею, принцип, позволяющий собрать вместе разные народы без их религиозного обращения и уничтожения самобытности. Принцип *imperium*, проявившийся даже еще и в республиканском Риме, отражал волю к осуществлению на земле порядка и космической гармонии, вечно находящихся под угрозой. Римская империя не объявляла себя божеством ревнующим. Следовательно, она признавала иных божеств, ведомых и неведомых, – и это распространялось также на политический порядок. Империя признает чужие культы и правовые коды. Всякий народ волен устраивать свое местожительство в соответствии с традиционной концепцией права. Римское *jus* распространялось только на отношения индивидов, принадлежавших к разным народам или на отношения городов. Можно было быть римским гражданином (*civis romanus sum*), не теряя национальности.

Это различие, чуждое, на самом деле, духу Государства-нации, между тем, что мы сейчас называем национальностью и гражданством, возродилось в священной Германской Римской Империи. Сверхнациональное образование, средневековый Рейх был фундаментальным образом плюралистичен. Он сохранял за людьми частную жизнь и частное право. На современном языке можно говорить о «федерализме», позволявшем уважать права меньшинств. Напомним, что в Австро-Венгерской Империи, не говоря уже о том, что она очень эффективно функционировала на протяжении многих столетий, большинство ее населения (60%) составляли меньшинства – итальянцы, румыны, так и евреи, сербы, русины, немцы, поляки, чехи, хорваты венгры. Жан Беранже, написавший ее историю, отмечал, что «Габсбурги всегда были безразличны к концепции Государства-нации», вплоть до того, что империя, созданная Австрийским Домом, отказывалась от создания «австрийской нации», сформировавшейся только в XX веке.

Что же до национального королевства, то оно, напротив, всегда имело непреодолимую тенденцию к централизации и гомогенизации. Занятие Государством-нацией определенного пространства всегда с самого начала обнаруживало делимитацию территории, на которой осуществлялся ее однородный политический суверенитет. Первоначально такая однородность достигалась посредством права: территориальное единство достигалось однородностью правовых норм. Мы уже говорили в связи с этим о роли легистов. Секулярная борьба монархии против феодальной знати, в особенности при Людовике XI, уничтожение аквитанской цивилизации, утверждение при Ришелье принципа централизации – все это рождено одним и тем же смыслом.

XIV и XV века в связи с этим отмечены сущностным поворотом. Именно в это время, когда государство выходит победителем из борьбы с феодальной аристократией и решающим образом утверждает союз с буржуазией, можно прямо говорить о возникновении централизованного юридического порядка. Параллельно, в экономической области все способствует «национальному продвижению», отвечающему желанию государства максимизировать с помощью монетизации обмена (нерыночного, межкоммунального, вплоть до подлежащих обращению взысканий) государственные фискальные поступления. «Государство-нация, – указывает Пьер Ранваллон, – есть способ соединения и артикулирования глобального пространства. Таким же образом рынок есть прежде всего способ упорядочивания и структуризации пространства социального; он лишь во вторую очередь является механизмом децентрализованного регулирования

экономической деятельности через систему тарифов. С этой точки зрения Государство-нация есть процесс приведения в ту же самую форму социализации индивидов в пространстве. Это возможно только в атомизированном обществе, в котором индивид понимается как автономная единица. В пространстве, где общество разворачивается как глобальное социальное бытие ни Государство-нация, ни рынок не возможны ни социологически, ни экономически.

Нет никакого сомнения в том, что монархический абсолютизм подготовил национальные буржуазные революции. Революция была неизбежной уже после того, как Людовик XIV сломал последнее сопротивление знати, и буржуазия в свою очередь сумела завоевать автономию. Нет сомнения, что Революция во многих отношениях лишь акцентировала уже открывшиеся при Старом Режиме возможности. Именно это констатировал Токвиль, когда писал: «Французская революция создала множество дополнений и вторичностей, но она лишь развивала главное направление, все то, что существовало до нее <...> У французов центральная власть уже была, более, чем в какой-либо другой стране мира, от местной администрации. Революция лишь сделала эту власть более успешной, более сильной, более смелой».

Как при монархии, так и при Республике логика национального государства на самом деле вела к уничтожению всяких препятствий между центральной властью и индивидуумами. Она стремилась к унитарной интеграции индивидуумов, подчиненных одним и тем же законам, к нераспространению общностей, говорящих на своем языке, хранящих свою культуру и обычное право. Власть государства осуществляется над индивидуальными субъектами – вот почему она непрерывно разрушает или ограничивает прерогативы любых видов опосредованной социализации: семейных кланов, сельских общин, братств, цехов и т.д. Запрет корпораций в 1791 году (закон Ле Шапелье) имеет прецедент в запрете в 1539 году Франциском I «всех цехов и ремесленных сообществ по всему королевству», решение, которое превратило подмастерьев в должников. После революции все это только усилилось. Деление территории на более или менее равные департаменты, борьба против «духа провинции», подавление регионализма, региональных языков и местных наречий, введение единой системы мер и весов – все это вело ко всеуравнению. Как бы повторяя старое определение Тённиса, можно сказать: современная нация восстала из общества, восставшего из руин старых сообществ.

Эта индивидуалистическая составляющая Государств-наций фундаментальна. Империя требует поддержания общностей; нация, по собственной логике, знает только индивидов. Быть подданным Империи можно опосредованно, через различные промежуточные структуры; принадлежать к нации – только напрямую, без всякого отношения к местным образованиям, сообществам или государствам.

Монархическая централизация была сущностно юридической и политической; она отражала только государственное строительство. Централизация революционная, сопровождавшая возникновение современной нации, пошла еще дальше. Она «продуцировала нацию» напрямую, то есть, порождала не бывалые ранее социальные учреждения. Государство стало производителем социального, причем, монополистическим: на руинах уничтоженных опосредующих образований оно

устанавливало общества равных в гражданском отношении граждан. Жан Бэшлер отмечал: «Нация полагает опосредующие образования неважными по отношению к гражданству и стремится сделать их вторичными и подчиненными». Констатацию того же самого мы находим под пером Луи Дюмона, видящего в национализме проекцию субъективного индивидуального «я» на коллективное «мы». Он писал: «Нация в точном современном смысле, и национализм – отличный от простого патриотизма – исторически вытекали из индивидуализма как ценности. Нация в точном смысле это тип глобального общества, соответствующего власти индивидуализма как ценности. Эти вещи не только исторически сопровождают друг друга, но друг другу навязывают взаимозависимость таким образом, что можно сказать: нация есть глобальное общество, состоящее из людей, полагающих себя индивидами».

Такому пропитывающему логику Государства-нации индивидуализму противостоит холизм имперской конструкции, в которой от индивида не отнимается его естественная или культурная принадлежность. В Империи гражданство (подданство) включает в себя разные национальности. В нации оба понятия, напротив – синонимы: именно принадлежность к нации определяет гражданство. Пьер Фужейройя резюмирует это в следующей терминологии: «При разрыве со средневековыми обществами, имевшими двухполярную – этнических корней и собрания верующих – идентичность, современные нации выстроены как закрытые общества с единой официальной, установленной для граждан идентичности. Отсюда, с самого начала нация в своих основаниях – это анти-Империя. У истоков Нидерландов – разрыв с империей Габсбургов, у истоков Англии – разрыв с Римом и установление национальной религии. Испания также не «катализировалась», не оторвалась от «габсбургской системы», а Франция постепенно формировалась как национальное объединение против Романо-германской империи и как нация возникла исключительно в борьбе с традиционными силами по всей Европе».

Добавим еще и то, что, в противоположность нации, долгие века все более огораживающей себе непреходимыми границами, Империя не представляет себя как закрытую тотальность. Ее границы по природе своей подвижны и временны. Изначально, как известно, слово «граница» имеет исключительно военный смысл: линия фронта.

Во Франции, в правление Людовика Х Молотка (le Hutin) слово «граница» заменило имевший место быть прежде термин «марка». Понадобилось еще четыре века, чтобы начать обозначать этим словом делимитацию территории государств в современном смысле. Укажем также, что идея «естественной границы», иногда использовавшаяся легистами XV века, вопреки преданиям, никогда не вдохновляла внешнюю политику монархии, и ее только по ошибке приписывают Ришелье и даже Вобану. На самом деле только во время Революции французская нация систематическим образом заговорила о своих «естественных границах». Жирондисты в Конвенте использовали это понятие для фиксации восточной границы по левому берегу Рейна, а также в целом для оправдания политики аннексии. Также только во времена Революции якобинская идея, в соответствии с которой границы государства должны совпадать с языковыми и с границами политической юрисдикции и нации, начинает распространяться по всей Европе начиная с Франции. Наконец, именно Конвент изобрел парадоксальным образом широко использованную затем Моррасом идею о «внутренних иностранцах», применив ее к

аристократам как поборникам опозоренной политической системы: Баррер, называвший их «иностранцами среди нас», утверждал также, что «аристократы вовсе не имеют отечества».

Будучи универсальной в своем принципе и призвании, Империя тем не менее не является универсалистской в нынешнем значении этого слова. Ее универсальность не означает распространения на всю Землю. Расширение ее пределов относится скорее к справедливо видимому устройению, к внутреннему пространству данной цивилизации, к федеративному объединению народов на основе конкретного политического устройства, вне всякой перспективы поглощения или уравнивания кого-либо. Так или иначе с этой точки зрения Империя отличается от гипотетического Всемирного государства или от идеи о том, что существуют универсально приемлемые всегда и везде политико-юридические принципы.

Универсализм, прямо связанный с индивидуализмом, скорее, растет из того же индивидуалистического корня Государства-нации как основы современного политического универсализма. На самом деле исторический опыт показывает, что национализм очень часто принимает форму раздутого до вселенских измерений этноцентризма. Лучше всего напомнить, что французская нация изображается как «самая универсальная из всех наций», и такая универсальность проистекает из изначальной национальной модели, предполагающей распространение по всему миру лежащих в ее основе принципов. В эпоху, когда Франция полагала себя «старшей дочерью Церкви», монах Гибер де Ножан в своей *Gesta Dei per Francos* изображал франков орудием Божиим. Начиная с 1792 года революционный империализм выражался в попытках распространения по всей Европе идеи нации. С тех пор всегда раздавалось достаточно голосов, тщившихся убедить всех в том, что французская идея нации подчинена «идее человечеств», и именно это делает ее, в частности, «толерантной». В такой претензии можно сомневаться, ибо она легко переворачивается: если нация подчинена человечеству, то и человечество подчинено нации. Как бы завершается это суждение так: кто против такого вывода, тот против человеческого рода.

Предшествующие краткие указания позволяют понять, что название «Империи» может быть отнесено только к таким историческим конструкциям, как Римская империя, Византийская империя, Священная Римско-Германская империя или Оттоманская империя. Совершенно точно не Империи в этом смысле империя Наполеона, гитлеровский Третий Рейх, британская и французская колониальные империи, равно как и современные империалистические образования американского или советского типа.

Очень трудно дать имя империи образованиям или могуществам, занятым исключительно простым процессом расширения своей национальной территории. Такие современные «великие державы» - не империи, но всего лишь нации, просто стремящиеся к расширению своих сегодняшних границ через военные, политические, экономические или иные завоевания.

В эпоху Наполеона «Империя» - термин, которым уже именовали монархию до 1789 года, но только в смысле «государства» - всего лишь национально-государственное целое, стремящееся утвердиться в Европе как великая держава-гегемон. Империя Бисмарка,

отдающая приоритет государству, просто стремится к созданию немецкой нации. Государственно-национальный характер Третьего Рейха был констатирован начиная с Александра Кожева, заметившего, что гитлеровский лозунг Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer всего лишь – причем, плохой – перевод на немецкий лозунга французской Революции: Республика единая и неделимая. Враждебность Третьего Рейха определению Империи проявилась в том числе в критике идеи «опосредующих учреждений» и «штатов» (Stände). Также известно, что в советской «империи» всегда преобладал централистский и ограничительный подход, навязывавший унификацию политико-экономического пространства и урезание местных культурных прав. Что касается американской «модели», нацеленной на обращение всего мира в однородную систему материального потребления и технико-экономических практик, то вообще с трудом видно, какую идею, какой действительно духовный принцип она была бы способна провозгласить.

«Великие державы» ipso facto не суть империи. Более того, только от имени Империи возможна критика современного империализма в разных его формах. Юлиус Эвола только так и смотрел на вещи, когда писал: «Без «обычаев и становлений» ни одна нация не может надеяться на успешную и легитимную имперскую миссию. Невозможно полагаться на свои национальные характеристики и при этом желать, оставаясь на этой основе, господствовать над миром и даже над иными землями». И далее: «Если «империалистические» устремления нынешних времен потерпели крах, а на руинах остались освобожденные от них народы, что стало для них источником всевозможных бедствий, то причина этого только в отсутствии всякой действительно духовной, сверхполитической и сверхъестественной стихии и замена ее насильем более мощным, но той же природы, что и сила защиты от него, и отсюда – простым подчинением. Если империя не сакральна, то это не империя, но вид раковой опухоли, атакующей разнообразные функции живого организма».

Но чему может послужить сегодня размышление об определении Империи? Представлять ее себе или призывать, вспоминая древние обеты – не пустая ли химера? Возможно. Но случайно ли всегда именно о Римской империи вспоминают, когда пытаются преодолеть Государство-нацию? Случайно ли, когда мысль заходит в тупик, ее вновь мобилизует именно идея Империи (Reichgedanke)? И разве, в конце концов, не та же ли самая идея Империи подспудно лежит в основании всех сегодняшних дебатов о европейском строительстве?

Государство-нация непреодолимо? Многие поддерживают эту идею, причем не только левые, но и правые. Среди последних - Шарль Моррас, по мнению которого нация есть «самое широкое из присутствующих во времени общественных объединений, самое крепкое и полноценное» – и он же исповедовал, что «в политической области нет ничего более широкого, чем нация». Между тем, когда началась Вторая мировая война, один из его старейших учеников, Тьерри Молньер, ответил учителю: «Культ нации - не ответ, но бегство, обманчивый слив, или, более того, сомнительное переобращение к сугубо внутренним проблемам». Сегодня существенно только то, что представляет собой мир за пределами Государства-нации. То, область действия чего проходит сквозь множество разрывов. Ответ на что – в появлении новых социальных движений, в устойчивом регионализме и автономизме, в новых, не известных ранее формах общности, которые

оказываются теми же самыми, некогда сломанными, но как бы новыми, формами опосредующей социализации. При том, что Государство-нация уже поставлено под удар свыше. Оно лишается силы всемирным ходом международной конкуренции, возникновением международных или общеевропейских объединений, межправительственных бюрократий, научно-технических структур, планетарных медиакорпораций и международных групп давления. Параллельно все более очевидно экстравертирование национальных экономик в ущерб внутренним рынкам. Через игры совместных предприятий, транснациональных фирм, биржевых операций, мировых макронакоплений.

В странах Третьего мира Государство-нация, лишенное какого-либо исторического фундамента, все более и более ясно предстает как западное заимствование. Долгосрочная жизнеспособность «наций» Черной Африки или Ближнего Востока, не будем говорить, каких, с каждым днем становится все более и более сомнительной. Эти нации возникли из серии руководимых колониальными державами произвольных нарезок без всякого знания местных исторических, религиозных и культурных реалий. Разрушение Оттоманской Империи, точно так же, как и Австро-Венгерской, осуществленное во исполнение Севрского и Версальского договоров, произвело катастрофу, последствия которой ощутимы до сих пор, о чем свидетельствуют Война в Заливе и тяжелые потрясения, продолжающиеся в Центральной Европе.

Исходя из этих условий, как можно не задавать вопроса об идее Империи, которая на сегодняшний день является единственной альтернативной моделью перед лицом Государства-нации? Есть неумолимые знаки. Среди них объединение Германии, очарованность образом Австро-Венгрии, новое появление старого понятия *Mitteleuropa*. Призывание Империи произойдет из необходимости. Мы уже цитировали Александра Кожева. Замечателен написанный им в 1945 году и только недавно опубликованный текст, в котором он призывает к созданию «латинской империи» и указывает на идею Империи как на альтернативу Государству-нации с одной стороны, абстрактному универсализму – с другой. «Либерализм, - писал он - не в состоянии вообразить никакой политической целостности по ту сторону наций. Но и интернационализм грешит тем, что не видит ничего политически жизнеспособного, кроме человечества в целом. Не остается ничего, кроме как вновь открыть промежуточную политическую реальность империй как союзов, как международных плавильных котлов совместимых меж собой наций, политическую реальность наших дней».

Европа стремится к политическому единству. Но это политическое единство не может быть выстроено по национальной якобинской модели без того, чтобы уничтожить богатство и разнообразие всех ее составляющих, еще менее его может взрастить экономический наднационализм, о котором грезят брюссельские технократы. Европа не может быть создана иначе, чем по федеральной модели, основанной на единой идее, едином проекте, едином принципе, то есть, в конечном счете, по имперской модели.

Такая модель позволила бы разрешить проблемы региональных культур, национальных меньшинств и местных автономий, которые не могут получить верное решение в рамках Государства-нации. Она в равной степени позволила бы переосмыслить, вместе с

вопросами, порожденными неконтролируемой иммиграцией, проблематику соотношения гражданства и национальности. И также она позволила бы преодолевать опасности этнолингвистического ирредентизма, конвульсивного национализма и якобинствующего расизма. В конечном счете она предоставила бы, через решающую роль, которую она отдает определению автономии, огромное место процедурам прямой демократии.

Сегодня много говорят о новом мировом порядке. Возможно, мировой порядок на самом деле необходим. Но по какому чертежу его строить? По чертежу планетарного потребителя, человека-машины, «ординантропа», или же глядя на горизонты организационного разнообразия живых народов? Будет ли Земля сведена к однородности чрез приспособительные и обезличивающие способы, для которых сегодня Форма-Капитал и империализм американского типа остаются единственным вектором, на самом деле, циничнейшим и высокомернейшим? Или все же люди обретут себя в своих верованиях, традициях, способах жизни, в своих всегда в каждом случае единственных путях осмысления мира, путях всегда необходимого сопротивления? Безусловно, сегодня Европа заблокирована, и невозможно различить даже начала пути возможного обновления имперской идеи. Но эта идея существует. Она должна только (при)обрести форму. Юлиус Эвола писал: «Только идея образует отечество <...> Ни землячество, ни общий язык, ни даже кровь соединяющая или разделяющая, но соединенность или разделенность с одной, главной идеей». В эпоху Столетней войны девиз Луи д'Эстутвиля был примерно о том же: «Где честь, где верность. Только там отечество». Идея нации – о том, что только свое достойно. Идея Империи о том, что только достойное – свое.